что-то спрашивает, но я не могу ответить, я смертельно устал. Хочу спать. Спать! Спать! Пусть весь мир провалится в тартарары, пусть сгорит дом, пусть будет потоп, но пусть меня оставят в покое — я хочу спать. А она опять меня трясет, еще и еще раз. Откуда-то появляются муравьи, черные, с большими блестящими брюшками. Они идут колоннами, построившись стройными рядами; их много, бесконечно много, все идут, идут, идут...

Проснулся от мучительной боли в темени и не сразу понял, где нахожусь. Я лежал на диване в маленькой комнатке с голубыми обоями на стенах, с белоснежными занавесками на окне. Был день, светло, откуда-то в комнату проникал запах кофе. Очень хотелось есть. Лежал одетый, укрытый одеялом, и под головой у меня оказалась подушка. Но помню, когда я садился на этот диван, ничего не было. Мой взгляд остановился на портрете, с которого на меня смотрела светловолосая женщина, и сразу все стало ясно: ведь это квартира Сирье.

Это было уже утром, когда я, усталый, зашел к Сирье. Предварительно позвонив, я убедился, что ее, как всегда в это время, нет дома. Затем открыл дверь и вошел. Я присел на диван, задрал на спинку стула ноги и стал смотреть на портрет Сирье. Я не спал очень долго и очень устал, но это бы еще ничего, если бы не сходка... Меня повел туда Рест, он ведь вор «в авторитете»... Сходка собралась в Копли, где есть что-то наподобие «малины». Собрались из-за Рябого. Рябой был где-то на деле, а когда их всех сцапали, его почему-то отпустили. Потом стало известно, что он «сука» и дело уже заранее «заложил».

Рест меня представил как вора. Всего собралось девять морд. Сперва базарили так, кто про что умел, говорили о бабах, потом, как бы между прочим, перешли к главному вопросу. Всю ночь выступали воры, попались, как назло, все языкастые и грамотные. Да и Рябой тоже чуть ли не дипломат. К тому же он имел право защищаться и пытался доказать всеми возможными правдами и неправдами свою невиновность. Только дело было ясное. Все выступающие заканчивали одним и тем же: на ножи. Уже перед рассветом решили единодушно: зарезать. Осталось выяснить, кому предстоит исполнить приговор, но исполнять никому не пришлось: Рябой зарезался сам со словами: «Я вором был, вором и умру». Он поставил пику острием на сердце и стукнул по рукоятке кулаком. Удар был сильный, он упал и тут же умер. Его завернули в какую-то рогожу и куда-то убрали.

Только уволокли Рябого, как в окно ударили камнем, со звоном разбилось стекло. Через маленький люк в коридоре все вмиг взобрались на чердак, а оттуда — на крышу, перейдя которую мы очутились в соседнем дворе, откуда по одному вышли на другую улицу.

В «хату» ворвалась милиция, но было уже пусто. Однако еще бы чуть-чуть — и хана всем. Но как это им удалось вынюхать сходку?..

Уже рассвело. Я бесцельно бродил по городу, о чем-то думал: о беспощадной жизни, о смерти, о Рябом. Перед глазами все еще стояло побледневшее лицо Рябого, его последние судороги. И жизнь эта... тоже. Как мог Рябой уйти из жизни так покорно?.. «Я вором был, вором и умру». Какая нелепость! Фанатик! Уверен, что каждый из тех, кто судил Рябого, уже не раз нарушил закон, но только об этом до поры до времени неизвестно. Но это не помешало им во имя этого нелепого закона уничтожить товарища.

На Нарва-Мантее эти размышления прервал неожиданный толчок в спину, и я полетел навстречу мчавшемуся на меня грузовику. Водитель не успел затормозить, так это быстро произошло. Я машинально подпрыгнул, чтобы уцепиться за радиатор, и это меня спасло. Получив удар, отлетел в сторону и отделался лишь синяками и ссадинами. Подозреваю, что это не последний «несчастный случай», который со мной может приключиться. Потом я очутился на знакомой улице в доме Сирье.

— С добрым утром! Как поспали?

Передо мной стояла она, закутанная в халат, в мягких комнатных туфлях на босу ногу.

— Здравствуйте,— сказал я,— извините меня... Вы меня, конечно, не знаете...

Она отодвинула стул от стоящего посредине комнаты стола и, скрестив ноги, села. Так всегда сидела моя мама, когда вязала или шила.

— Нет, почему же, я вас знаю,— сказала она.— Мы ведь с вами, кажется, вазу вместе разбили. У меня даже осколки от нее сохранились. Они будто бы приносят счастье? — В ее голосе послышалась ирония, но продолжала она без всякой иронии, и в ее голосе почудились теперь уже нотки страха.— Только как вы ко мне попали — я действительно не понимаю... Но вы, между прочим, проспали у меня ночь, ведь уже утро.

«Значит, я проспал целые сутки»,— подумал я и молчал. И она молчала. Я не знал, как быть. Сказать разве, что я в этой квартире не в первый раз? У нее очень хорошие глаза, ласковые, человечные. Мне так хотелось, чтобы вот такая женщина была моим другом.

— Хотите, я вам расскажу всю правду? — спросил я наконец, не сознавая еще сам, что именно расскажу.

— Хочу,— сказала она коротко.

Я рассказал ей все. Я спешил, торопился, боясь, что она мне помешает, но она слушала очень внимательно. Меня прорвало, я вывернул перед нею всю душу и говорил, говорил, говорил. Никогда, никому я еще не говорил столько правды. Страшной правды... А то, что она действительно страшная, я понял отчетливо лишь теперь, рассказывая ей. Мне хотелось очиститься, как на исповеди. Когда я, наконец, замолчал, она спросила, как меня зовут.

— Меня зовут... — чуть не назвал кличку.— Ахто,— ответил я, и это звучало как-то странно, так давно меня не называли по имени.

— И у вас никого нет? — спросила она тихим голосом,— ни родственников, ни...— она не закончила вопроса, лишь вопросительно смотрела на меня.

— Нет, никого нет,— ответил я Сирье, как и она, тихо.

— Хотите есть? — спросила Сирье.— Пойдем, будем пить кофе.

Мы пошли в маленькую кухню, Сирье разлила кофе, и мы молча принялись за еду. Было очень уютно. Так хорошо мне уже давно не было. На короткое время я забыл и сходку, и Рябого, и всю свою собачью жизнь. Когда я собрался уходить, она сказала:

— Если вам негде будет спать — приходите. Я ничем больше не могу вам помочь.

Глаза у нее были очень грустные.

Явился я к Сирье пьяный. И она меня не выгнала. Ей-богу, не понимаю... Она не выгнала меня, а уложила спать на тот же, знакомый мне диван. Даже помогла раздеться. Из нее бы получилась

гаемых кроватей, скамеек, началась всеобщая уборка. Значит — порядок. Моя взяла! Стало быть, хорошее способно пробиться даже через эти грубые шкуры, только надо быть настойчивым. Стало быть, мое решение правильное, и я на верном пути. Я встал и вместе со всеми принялся еще раз за уборку. Когда закончили — подошел к своей кровати и медленно начал собирать вещи. Все недоуменно посмотрели друг на друга, на меня, и кто-то спросил: «Куда ж ты собрался? Убрали же...». Я сказал тихо: «Наверное, мне лучше в другую камеру...». Я никуда, собственно, не хотел идти, надеялся, что меня, может, не отпустят. И точно. Кто-то сказал: «Брось ты!». Кто-то другой: «Оставайся, что ты...». Это было сказано довольно виновато. И, скрывая непривычную неловкость, кто-то пробасил: «Ладно уж, чистота — залог здоровья, что мы... не понимаем». Я остался.

Был суд. За хорошее поведение в быту и труде суд освободил меня досрочно от дальнейшего тюремного заключения. Последние два дня в тюрьме открыли мне неожиданно одно интересное явление: со мной приходили прощаться надзиратели, поздравляли, приглашали после освобождения в Балашов, обещали помочь устроиться. Теперь еду в колонию, наверное, туда, откуда приехал. Появились у меня друзья и враги — как всегда, когда не плывешь по течению, а живешь активно. Друзья не скрывают своего ко мне уважения, враги притаились, дожидаются удобного момента, чтобы открыться. Друзья из молодых, в большинстве люди, попавшие сюда впервые. Особенно подружился с одним совсем молодым парнем из Шахуньи. Симпатичный, с мечтательными глазами парнишка. Следует из колонии малолеток в колонию взрослых. Очень смышленый, десять классов образования. Он скоро освободится и, надо думать, никогда не попадет сюда снова. Вокруг него, когда я вошел в камеру, так и увивались аллигаторы уголовного мира, люди, почти никогда не жившие на воле, не имеющие никаких человеческих чувств. Я здорово помешал им.

Он показывал письма своих друзей, рассказывал о родителях. Все это не нравилось аллигаторам, и знаю, что приобрел много врагов. Только плевать мне на эту сволочь. Постников верит мне во всем, и я постараюсь показать ему то, что так трудно заметить в его возрасте. Ведь когда я был в его годах, разве не были для меня самыми авторитетными людьми приблизительно такие, как Серый Волк теперь?

В БЕЗВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Я не знаю тебя, я не знаком с тобой, но, может быть, ты где-то есть — бескорыстный, искренний друг. Хочется поговорить с кем-нибудь, но хотя вокруг много людей — не с кем. Валяюсь вот уже четырнадцать суток в пересыльной тюрьме (пятой по счету). В камере 54 человека: дым, гомон, шум. Все говорят о чем-то, рассказывают друг другу что-то, смеются, ругаются, и им вроде весело. Но мне не хочется ничего никому рассказывать и слушать тоже. Только не слушать невозможно... До чего же нелепо! Все норовят излить мне горе свое...

Как их мало, мужественных в беде своей. С кем ни заговоришь, кто с тобой ни заговорит — все плачутся: как им тяжело, как они несчастны. И, конечно, хотят, чтобы их ободрили. Какого черта они думали, когда делали то, за что их сюда загнали? А ведь все они тут не впервые, все вроде бывалые. Говоришь, ободряешь, но хочется послать к черту. И никто же не подумает, что и мне здесь не дом родной.

Вот вчера подрался... Они ко мне как к «иностранцу» (как же — был за границей!) обращались с нелепыми вопросами о жизни за границей, причем, горько вздыхая, изъявляли жгучее желание попасть туда. Там, по мнению этих воздыхателей, текут молочные реки с кисельными берегами. Они недовольны решительно всем на своей родине. «За границей все лучше, дешевле, там лучше платят за труд, да и труд там не такой, как здесь, там законы справедливы и правительство лучше, и вещи там лучше, и даже женщины...»

Ведь их ничто не оправдает — мелких, пошлых, пустых. Они безуспешно пытаются винить свою родину в своих неудачах, восхваляя заграницу, готовые продать родину за хлеб с маслом! И разве это родину они так ненавидят? Нет. Это они труд ненавидят. В Америке они тоже будут недовольны, и в Англии, и в Италии тоже — везде, где придется жить, подчиняясь законам, и трудиться.

Один доказывал, что мы, в общем, скот и что общество, упрятав нас сюда, хотело заставить нас понять, что мы действительно скот. Этот, видно, самокритичен. Он говорил, что нас все же воспитывают и жизнь наша намного лучше, чем могла бы быть.

Но пока мы здесь барахтаемся в болотах, в лесах, съедаемые комарами, соображая, кто мы и где мы, пока мы здесь отбываем в небытии год за годом, там, на воле, строится иная, человеческая жизнь... А мы от этой жизни настолько уже отстали, что вряд ли будем там ко двору.

Хороший друг, если ты где-то есть, поверь — мне тоже нелегко. Многое непонятно, а хочется узнать, проверить, понять. Я не вижу сейчас, но не потому, что слепой, а потому, что завязаны глаза. Но я хочу видеть. Я должен видеть, понять.



ТЕТРАДЬ ТРИНАДЦАТАЯ
ГОД 1963

— Бойся-а-а-а!

— Бойся-а-а-а!

Нет, не того, что тебя зарежут или изобьют — некому. Нужно бояться, чтобы не попал под дерево. Лесоповал...

Треск, грохот падающих деревьев. И опять кричат, что надо бояться, и опять грохот, и так целый день. Только меня это не касается.

— Юзи! — вот это уже меня касается. Нажимаю на багор и резко подталкиваю бревно вверх по накатам, еще усилие, еще рывок, и оно уже на прицепе.